

ВЛАДИМИР
СОТНИКОВ
ХОЛОЧЬЁ

ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
САГА

Владимир Сотников
Холочье. Чернобыльская сага
Серия «Чернобыль: книги, ставшие
основой знаменитого сериала»

Издательский текст

<https://litres.ru/51367972>

Холочье. Чернобыльская сага: Издательство АСТ; М.; 2020

ISBN 978-5-17-119983-8

Аннотация

<p>Жизнь пишется на неведомых носителях, и человек вечно занят разгадкой этих записей. «Будь я атомом, в капле воды увидел бы океан. Так и в Холочье я видел мироздание», – думает герой романа о деревне, в которой вырос и которая была стерта с лица земли чернобыльской катастрофой.</p> <p>Эта книга написана не словами, а смыслами. Автор создает своего рода феноменологический рисунок жизни. Пожалуй, в современной русской литературе трудно найти столь неожиданный взгляд на человека, социум и природу в их единстве.</p>

Содержание

Часть I	5
1	5
2	9
3	13
4	17
5	19
6	23
7	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Владимир Сотников

Холочье.

Чернобыльская сага

© Владимир Сотников, текст, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

Часть I

1

Пишется жизнь, не требуя слов, умения и желания, пишется на неведомых носителях.

Я вспоминаю одну странную картину моего детства. Она никогда не становится полной, как, впрочем, и все, возникающее в памяти, но всегда пытается проявиться своим смыслом наподобие того, как мифы вырисовываются перед нами не подробностями событий, а общим результатом происшедшего. Вспоминая это, я лишаюсь не только умения писать, но и дара речи, как будто переношусь в самое начало времени, когда не было слов.

Я стою у своего дома и смотрю на лес. На высокой опушке горит костер, дым поднимается вертикально к небу. Вдруг я слышу выстрел. По лугу бежит мой друг Витька. Он падает, подхватывается, опять бежит. Я срываюсь навстречу, и вот мы уже вместе бежим обратно к лесу. У костра, раскинув руки, лежит его отец. На груди у него кровь, глаза неподвижно смотрят в небо. Он мертвый. Я не помню, как мы прибежали в деревню, как появились вокруг взрослые, как меня закрыли в доме. Время захлопнулось, как дверь в моей комнате, не выпуская меня. В любое другое свое воспоминание я

могу добавить подробности, могу раздвинуть его чувственное пространство, могу добавить слов. В любое, но не в это. Даже эти немногие слова дались мне с трудом, словно их не должно быть. Я вижу только дым, устремленный к небу над опушкой.

И вот опять я больно ударил по своим чувствам, потому что опять не сумел рассказать и объяснить тот случай из прошлого. А возможно ли это? – спрашиваю я себя в утешение. – Возможно ли объяснить? Нет. Так чего же я хочу? Хочу уловить связующую нить жизни с ее образами. Дым к небу над опушкой – один из них. Он поднимается к тому, что существует за пределами моей жизни, но находит подтверждение в моих чувствах.

За огромным полем у самого горизонта виднелась темная полоса леса. К нему по вечерам опускалось солнце, день заканчивался, но воспоминание о таком же закате обещало новое повторение, и прошлое сливалось с будущим. Мне казалось, время соединяется именно там, у горизонта. Однажды я пошел туда. Шел долго, с высокого поля оглядывая все вокруг, думая о том, что вот иду по поверхности земного шара, как великан. Я любил такие сравнения, любил удваивать все, что видел, это была моя детская игра. Даже свой примятый в траве след, оглянувшись, я сравнивал со вчерашним днем, в котором события, вспоминаясь, распрямлялись, как травинки. А еще думал, что, может быть, я остался возле своего дома, откуда часто смотрел на это поле, а здесь не я, а мое

желание пойти сюда.

Когда я уже спустился с пологого поля и приблизился к соснам, свистевшим на ветру своими иголками, и оказался на берегу маленького круглого озера, поверхность которого была неподвижной, несмотря на ветер, – неизвестный мне страх охватил меня. Я заглянул туда, вниз, увидел только свое отражение и прозрачную воду – ни дна, ни травинки, ни водорослей не было там. Прозрачная вода казалась темной в бездонном провале. Я смотрел туда, словно нарушая запрет, не позволяющий совместить теплый воздух вокруг меня и холод уходящей вниз бесконечности. Я оказался над чем-то непонятным, над переходом в другой мир, над чем-то единственно отличающимся от всего, что меня окружало.

С трудом я отошел от края этой пропасти. Рядом была заросшая травой дорога, почему-то я поднял на ней камешек. Может, потому что он был совсем один на этой едва различимой тропинке, я вернулся и бросил его в воду. Он ушел почти без всплеска, стремительно, даже не показав своего погружения. И я бросился домой, убегая от непонятного страха. Но надо ли говорить, что ходил я туда не раз?

Вот и еще один образ из того времени. К дыму над лесом добавилось это бездонное окно. Как будто ввысь и вглубь раздвигались пределы той жизни, доказывающие ее бесконечность.

Сейчас там только простор, заросшее травой и березами поле, которое было и до того, как сто лет назад деревня по-

явилась вокруг почтовой станции, через которую проезжал когда-то Пушкин по пути из Одессы в Михайловское, и стала называться Холочье, потому что на местном наречии это слово означало паводковое гнездо из мусора, плывшее весной по реке и прибывшее к берегу. Первые поселенцы согласились с тем, что их прибило к этому берегу течением жизни.

Время взметнуло свой полог, подарив на столетие этому пространству живую жизнь, и опять застыло в своем вечном покое. Невидимый чернобыльский потоп смыл эту жизнь, дома разрушили и закопали под землю, люди разъехались кто куда, деревня исчезла.

Как страшно мне присваивать единственный взгляд на прошлое. Никого там пока нет, кроме меня. Я не хочу быть один и оправдываю свою смелость воспоминанием о детском открытии. Тогда я понял, что самое главное в жизни – взгляд, исходящий из меня на все вокруг, и пусть я не понимаю, что такое жизнь, зато все вижу.

Ребенок это открыл, взрослый сейчас записал – кто кому помог? Не важно, потому что мы один человек. Я посылал из детства сигналы в мою нынешнюю жизнь, чтобы понять, для чего появился.

Я постучался в крайний дом. Эта фраза часто снится мне вместе с этим беззвучным стуком. Правда не надоедает, и я только жду продолжения ее.

2

Этот дом в детстве казался непохожим на остальную улицу, застывшую в общем чувстве, и взгляд возле него всегда настраивался на бескрайнее поле и небо. Провожая меня удивленными окнами, он запоминал время моего проскальзывания мимо него, ожидая возвращения, как страж у порога времени и пространства. А я обманывал его. Уносился на велосипеде, делая огромный круг, и возвращался в деревню с другой стороны. Я играл с этим домом в игру, ставшую потом жизнью, уезжая как будто навсегда. Как будто навсегда. Понимал ли я это тогда, как понимаю сейчас? Нет, конечно. Мне просто нравились огромные круги, замыкающиеся на моей деревне, а не прямые линии туда-обратно. Я старался очертить, присвоить себе побольше пространства. И после песчаной дороги, по которой ехать было тяжело, потому что песок не давал колесам крутиться и был похож на воронку в песочных часах, только вытянутую, я всегда останавливался на высоком холме рядом с овчарней в виде креста, ставшей потом свинарником, а потом разрушенной, и отдыхал после подъема, чтобы посмотреть обратно. Прощальный взгляд на улицу начинался с этого крайнего дома.

Нет ничего более отвлекающего в воспоминаниях, чем нечаянное чувство, вспыхнувшее со стороны, словно блик солнца, отраженного от какой-нибудь стекляшки в придо-

рожной траве. Сейчас я вспомнил, что в детстве хотел, чтобы и мой дом стоял на краю деревни. Чтобы, засыпая вечерами, прижавшись к стене, чувствовать за ней гул безграничного простора, куда я мог вылететь в своих снах, не боясь уличных проводов и деревьев – они не раз мешали моему полету. Странное объяснение притягательной тайны крайнего дома. Но пока эта тайна не разгадана, мне приходится мириться с тем, что все попытки ее объяснения будут такими же странными и преждевременными. Наверное, у меня просто нет сил на эту разгадку. Или времени.

А солнце, закатное солнце? Оно зависало над краем улицы, над этим домом, и я смотрел туда, где даже песок был красным, не только воздух. В это марево мимо меня, сидящего на лавочке у своего дома, возвращался с работы хозяин крайнего дома дядя Шура. Он нес свой топор, держа его за лезвие, вниз топорищем, и в этой шагающей фигуре на фоне заката было все завершение прошедшего дня. Ему навстречу бежали его дети-погодки, Гена и Люда, и в коляске у дома, ждал, ничего не зная, третий, маленький – я уже не помню, мальчик или девочка. Эту картину чужого и понятного счастья я видел потом много раз в фильмах, но там она всегда являлась лишь слабым повторением первоначальной.

После прохода по улице дяди Шуры начинался вечер. Я смотрел в дымчатый закатный воздух, растворивший моих соседей, и туда, в сторону этого крайнего дома, перетекало неуловимое чувство. Наверное, это и было течение времени.

И деревья там были необычные, старые вербы. Очертаниями своих крон они напоминали мне грузовик – высокую кабину и длинный кузов, и поэтому всегда вызывали чувство ожидания: стоит зеленая машина, покачивается, будто завелся мотор, и вот-вот готова тронуться с места. А над ней, далеко над горизонтом, если взглядеться, можно было рассмотреть маленькую ветряную мельницу в дальней деревне. Движение ее крыльев из-за расстояния было неразлично.

А может быть, в тайне этого дома виновата лишь одна фраза, сказанная тетей Зоей, его хозяйкой? Экскаватор копал русло нашей маленькой речки, превращая ее в прямую канаву. Мы собирали рыбу, выброшенную ковшем в грязные лужи. Я услышал слова тети Зои: «Это как для нас потоп. Только наоборот». И она ушла к своему дому через луг, без рыбы. Я ничего тогда не понял, но всю жизнь, если попадалась на глаза литография Доре, иллюстрирующая Всемирный потоп, вспоминал этих копошащихся в грязных лужах рыб, задыхающихся без воды. И представлял тетю Зою, и то, как шла она к своему дому.

Еще у них была бодучая корова. Мы боялись ее и обходили стороной.

Что еще?

Воспоминания об этом доме всегда будут странными.

Мишка был старше меня лет на пять. Почему он не любил живущих по соседству? Этого я не понимал, но принимал как странное деревенское правило: дальние соседи дру-

жат, ближние – нет. В тот день мы с ним оказались вдвоем, чинили велосипед, о чем-то говорили. Он был старше, повторяю я, а это в детстве главное при распределении ролей. К тому же Мишку учил в школе мой отец и хвалил его за успеваемость. Может, поэтому я и слушал Мишку. Он рассказывал мне о крайнем доме. Взрослые сплетни, переведенные на детский язык. Курей не кормят, огород не полют, ведро в колодец уронили – там и оставили. Мне бы уйти, но я был маленький, и у меня не было нынешнего опыта жизни. И вдруг он встрепенулся: «А мы вот сейчас им устроим!» – и объяснил, что я должен делать. Я не то чтобы подчинялся, просто был вместе с ним. Рядом. В третий раз повторяю: он был старше. Лет на пять.

Он дал мне куриные яйца, я сел позади него на багажник велосипеда. Мишка разогнался, и я, поравнявшись с крайним домом, бросил эти яйца, одно за другим, в стену. Яйца лопались и стекали желтыми разводами. В ушах сквозь свист ветра звучало довольное хихиканье Мишки. А на крыльце стояла тетя Зоя и смотрела на меня испуганными глазами.

Вот и все. Вот и главная разгадка моей тайны. Я вписал свое имя золотыми буквами в стену этого дома навсегда.

Дядя Шура, тетя Зоя. Если там, где вы сейчас, есть стены, я сделаю их чистыми, как небо.

Свиньи были как люди. Я никому об этом не говорил, конечно, чтобы надо мной не посмеялись за такое сравнение, но любил наблюдать за ними, когда они паслись на склоне холма под высокими дубами, разрывая дерн в поисках желудей. И смешные поросята были как дети. Так же толкались, так же жались к родителям, жалуясь на обидчиков.

Я любил свой дуб. Он был не старым, не высоким и стоял чуть поодаль от остальных дубов, ближе к речке. У него были удобные для залезания толстые ветки, похожие на перекладыны лестницы. Этот дуб как будто для того и вырос. Как будто для меня. Я добирался до той высоты, где ствол становился почти одинаковым по толщине с моим туловищем – мне нравилось такое сходство. Но боковые ветки там были тонкими, и я возвращался пониже, на удобный, как лавочка, сук.

Нет в детстве ничего лучше бесконечных сравнений, которые заменяют будущие мысли. Дуб как лестница, свиньи как люди, склон холма как лист бумаги, на котором я как будто рисовал своим взглядом. Сидел, держась за ствол, и смотрел сверху на растекающееся по зеленому листу стадо, как путешественник, после долгих странствий попавший в другую страну, наблюдающий ее сверху, чтобы запомнить и потом рассказать о ней. Такое путешествие я совершал ча-

сто, если не находилось другого занятия. Так было и в тот день.

Было жарко, безветренно, я сначала несся на велосипеде к мосту через речку, убегая от догонявших меня оводов, создавая встречный ветер и мечтая о том, как сейчас у моста остановлюсь и искупаюсь. Но успел только окунуться, потому что увидел, как из свинарника выходит стадо. Я словно опаздывал. Быстро доехал до середины холма, где налево от дороги начиналась маленькая тропинка, по которой я свободным ходом всегда скатывался к своему месту, своему дубу.

Впереди меня по тропинке шел пастух, то и дело отмахиваясь от слепней. Он нес на плече косу, под мышкой мешок – наверное, собирался где-нибудь у речки накопить травы для своей лошади. Оглянувшись, он увидел меня и стал ждать моего приближения, расплылся в чрезмерной улыбке, как будто кривлялся. Так он всегда улыбался при встрече и не здоровался, а только мычал что-то под нос. Звали его Герасимом и считали ненормальным. В разговорах на него не обращали внимания, только отмахивались всегда, как он сейчас от слепней. И вдруг лицо Герасима изменилось. Он вскрикнул, замычал и замахнулся на меня косой. До него оставалось метров пять, я приближался стремительно, приближался к своей смерти и ничего не мог сделать – ни затормозить, ни свернуть, ни упасть. Оцепенев от страха, зажмурившись, мгновенно подумав, что чернота в моих глазах и

есть конец, я летел в этой темноте. Когда руль задергался в моих руках, потому что велосипед съехал на кочки, я соскочил с него и оглянулся. Герасим хохотал, радуясь удачной шутке.

Я забрался на дуб, сидел наверху и дрожал от страха, несмотря на жару. Казалось, я только что перепрыгнул какую-то пропасть и оказался в другом, незнакомом месте. Я посмотрел на свои ногти – бабушка так учила меня делать, если вдруг испугаюсь чего-нибудь. Опять стало тепло, потом жарко, и я подумал, как хорошо здесь, наверху, спастись от слепней – они носились только внизу, над травой. Я смотрел на свои руки, трогал ими листья, радуясь тому, что могу делать что хочу. Могу залезть выше, могу спуститься на землю. Что ожидаю от себя, то и сделаю. Но я чувствовал, что появилось вокруг меня что-то новое, чего я не понимал и боялся. Какая-то чужая неожиданность.

Я уже собирался спуститься, чтобы через лесную дорогу вернуться в деревню.

Странное движение привлекло мое внимание. Стадо словно бы ожило, расширяясь кругами, приближаясь к пастуху на берегу. Он стал бегать, отгоняя свиней от реки, взмахивая своей косой, но они только взвизгивали и шарахались в стороны. Эта беготня нарастала, и вдруг одна из свиней бросилась с берега в воду, за ней еще одна, а потом и несколько сразу. Вода в этом месте была мелкая, и скоро все свиньи стояли в речке по самые спины, чавкая водой – я слышал эти

близкие звуки.

Потом они выбрались на противоположный берег и разбрелись по лугу вдоль всей нашей улицы. Целый день их старались перегнать по мосту к свинарнику. Но запомнился в деревне тот день именно тем, как свиньи бросились в реку.

До сих пор меня пугает в этом мире беспричинность.

4

Так долго и безуспешно я старался представить Гаврилиху, что память уже сама по себе, без моих усилий, соткала тот фон, на котором она должна появиться. Несправедливо время, не замечающее пустоту человеческого одиночества. Я не знаю о Гаврилихе почти ничего, но это лишь усиливает мое желание вспомнить ее в благодарность за главное открытие детства: жизнь больше человека. Конечно, я тогда не определил свое открытие такими словами, а только почувствовал его.

Иногда, где-нибудь в электричках или в вагонах метро, я взглядываю на лица людей, разгадывая их жизни, и даже не думаю о том, что первой в этом ряду была моя соседка бабка Гаврилиха.

Она была почти неотличима от окружающих предметов и становилась все незаметнее. Исчезала. Словно растворялась на фоне своего дома, забора, сада. Целыми днями она сидела на лавочке.

А мы, дети, в это время любили пробраться в ее сад, думая, что она нас не слышит. Старые и огромные вишни росли рядом с забором, над лавочкой, на которой сидела Гаврилиха. Перебираясь с одного дерева на другое, я становился на забор и заглядывал вниз. И видел счастливое лицо Гаврилихи. Она знала о нас, слышала наше шуршание и поэтому

радовалась. Она угощала нас из бесконечной жизни, в которой растворялась.

5

В детстве я любил стариков. Они смотрели на меня с таким ожиданием моей будущей жизни, что впору было спросить: а что там? Мне казалось, они все знают про меня. Сейчас я догнал этих стариков в таком же отношении к детям как к обещанию. Обещание всегда сначала правда. Но в детстве я этого еще не знал, а просто радовался тем взглядам. Их пристальность была понятна: старикам ведь нужно время, чтобы взглядеться. А я словно помогал им – подбирался, как в школе перед выходом к доске, старался быть лучше. Как еще описать мое предстояние перед ними? И как сказать о том чувстве, в которое никто не поверит, но оно было, и его можно назвать только простыми словами: мне было жалко, что они скоро умрут. Даже я, маленький, боялся смерти, но мне еще жить долго, а им – нет. Как они не боятся? Ведь их страх должен быть больше моего в тысячу раз.

Нет, не получается у меня описать тот встречный взгляд детства и старости. Из моей кажущейся середины жизни его нельзя почувствовать, как нельзя увидеть под водой трос на месте паромной переправы, когда-то связывавший размытые берега и теперь лежащий на дне.

На помощь мне приходит воспоминание о самом старом старике в моей жизни.

Дед Гытал приходил к нам редко, как странник. Его и на-

зывали странником, хотя он никуда не выходил за пределы деревни и даже на улице появлялся нечасто, но это не мешает мне сейчас представлять его как самое живое пятно на ней. Станный, думал я, считая, что странник – от этого слова. Так хочется вспомнить восторг от вида той сказочной для детского взгляда фигуры, и я вглядываюсь в прошлое с волнением виолончелиста, слушающего свое исполнение в записи, не понимающего, что же такое новое появилось в знакомых звуках, повторяющих погоню за ускользающим чувством. Память всегда сродни музыке, узнаваемой, но уже другой, звучащей, как будто добавилась к ней жалоба на несправедливое до этого молчание. Так и он, этот старик, ставший сейчас немного другим, отзывается на мое долгое ожидание. Я и тогда ждал его подолгу в перерывах между его появлениями.

Необычность жизни, главная жажда детства, восполнялась дедом Гыталом. Он заменял мне иллюстрации в моих первых книжках. Старик-лесовик, рыбак с золотой рыбкой, волшебники – все были с его лицом, со слезящимися глазами, которые он вытирал, словно умывался. Сказочному впечатлению помогали даже разговоры родителей, из которых я узнавал, что когда-то он был кузнецом в нашей деревне и вот доживает свой век в маленьком доме возле старого сарая, бывшего когда-то кузницей. В этом «доживает свой век» и была сказочная бесконечность.

По утрам я выбегал из дома и смотрел вдоль улицы. И

вот, словно продолжали свой ход после недельной остановки какие-то часы, он появлялся вначале дальней точкой, потом приближался, совпадая медленной походкой с качающимися ветками старых берез, не меняя ничего в окружающем мире, потому что был в нем главным для меня. Он подходил, гладил меня по голове и садился на лавочку. А я бежал в дом, чтобы сказать матери.

Она просила привести его, а я не торопился. Может, я хотел его вопросов: как зовут, как учишься? Нет, не хотел. Наоборот. Мне нравилось, что он молчит – этим он отличался от других стариков, и я мог думать за него. Я сидел рядом и представлял какой-то лес, в котором он заблудился темной ночью, и только утром на рассвете вышел в поле, где прыгало, как мяч, яркое солнце, на которое можно было смотреть. Он подковал моих выросших лошадок, и они улетели через окно в звездное небо, чтобы сделать прощальный круг над деревней. Мы стояли в его кузнице над горном, в котором переплавлялись друг в друга фигурки – не дотрагиваясь, я мог их изменять.

Я бы мог все это говорить ему, но никогда не говорил. Молчал, как и он. Только в снах потом повторялись эти картинки. А вдруг это как раз и вспоминаются те сны? – подсказывает мне кто-то вежливо. Нет-нет-нет. Даже и не уговаривайте. Не сны. Все это я видел, сидя рядом с дедом Гыталом на лавочке, думая об этом вместо него.

Он молчал, только поглядывал на меня и улыбался.

Странная картинка, не правда ли? Но ведь и мы были странные.

Я вел его в дом, он сел за стол. Мама ставила еду, он долго и медленно ел. Они разговаривали, конечно. Вы думаете, я хоть что-нибудь помню из этих разговоров? Я ждал его на лавочке. Выходя из дома, он уже не присаживался – опять гладил меня по голове и уходил.

Какая обычная картина – кроме нескольких минут моего перевоплощения. Кроме нескольких минут, когда я думал за него.

Я переполняюсь слезами, когда вспоминаю, что мама никогда не сказала мне ни одного назидательного слова – как надо. Все было обычно, как шевеление ветвей старых берез. Что ведет нас по жизни? То, что было перед глазами.

Если бы я писал о Холочье раньше, то, наверное, получились бы обычные воспоминания, но сейчас главный вопрос времени заставляет меня подчиняться ему, а не литературной привычке. Было так или стало так? Люди, которых я вспоминаю, помогают мне ответить. Они были, конечно же, другими, но становятся такими, какие есть сейчас, в своей вечной жизни.

Василь Фийон жил напротив шляха – проулка, уходящего в поле. Шлях и назывался Фийонов, но Василию было этого мало. Он был тщеславен, этот Василь. Мне он казался похожим на пирата – высокий, темный и худой, с пронзительным остановившимся взглядом, как на плохом портрете. Не хватало только кинжала в зубах. Сверкая золотыми зубами, он в любом разговоре упоминал название шляха, пытаясь присвоить и другие места – Фийонов стан, говорил он. Но к стану его прозвище никак не прилипало.

Стан – это опушка леса, на которую пригоняет пастух коров для обеденной дойки. Параллельно улице по лугу текла речка, за ней был лес с открытыми в сторону деревни пологими холмами-опушками. У нас было три стана, Панасов, Микитов и безымянный. Панасов и Микитов – потому что находились как раз напротив домов Микиты и Панаса. Безымянный находился напротив дома Василя. И вот он стал обустра-

ивать этот стан – срезал кочки, выкорчевывал кусты. Уговаривал пастуха пригонять туда коров. Василь хотел, чтобы люди привыкли называть эту опушку Фийоновым станом. Но странное дело – оказывается, даже названия присваиваются сами собой, без усилия человека. Один только Василь упорно называл свой стан Фийоновым, больше никто.

Я представляю, как он неприкаянно бродил вокруг своей пустой опушки, выглядывая на нее из-за деревьев, как будто ткал мысленную паутину названия. Почему не удерживалось его прозвище в этой паутине? Не замеченное и не признанное миром авторство.

Сейчас вдруг мелькнул во мне страх оттого, что я захочу повести Василя по неожиданной даже для меня дороге. Захочу наделить его каиновой завистью, и тот самый выстрел, после которого я увидел отца моего друга с простреленной грудью у костра с поднимающимся к небу дымом, будет произведен Василем. Если даже не скажу об этом напрямую, то намекну на такой исход событий. Нет, не буду я этого делать. Не буду. Почему-то я испытываю к этому неприятному человеку странное сочувствие.

Я люблю думать вскользь, допуская самые неожиданные выводы, как будто камень моей мысли летит над водой, касаясь ее. Откуда я знаю о тщеславии Фийона? Мне рассказывал отец. Мы шли тогда из леса, как раз вышли на эту безымянную опушку. Я только что пытался объяснить отцу свое невероятное открытие – что я его догоняю по возрасту. Ко-

гда-то он был старше меня в тысячу раз, а теперь в пять, а потом, со временем, будет становиться старше все в меньшее количество раз. Даже меньше, чем в два раза. Вот я и догоняю. Это было для меня таким важным, как будто мир сдвинулся с места силой моей мысли! Мне показалось, отец совсем не заметил моих слов, не признал моего открытия. Нет, все-таки он что-то говорил – про дробь, в числителе которой мой возраст, в знаменателе – его, и эта дробь с каждым годом стремится к единице. Я обиделся, что он пересказал мои слова по-взрослому и они стали непонятными. Но это я сейчас вспоминаю про дроби, а тогда был занят только своим образом погони за временем. Мне казалось, я ухватил за хвост эту жар-птицу, которую никто, кроме меня, не видел.

Сейчас я улыбаюсь сравнению себя с Фийоном, которое вызвало во мне сочувствие к нему и жалость. Но почему бы и нет? Мы были непризнанны и потому похожи.

Будь я атомом, в капле воды увидел бы океан, так и в своей деревне я видел все мироздание. Поэтому вся моя дальнейшая жизнь, все впечатления и переживания, все мысли, сомнения и разочарования, горе и счастье – ничто и никогда не приходило ко мне впервые, а всегда повторялось отражением от первых чувств. Особенно люди, которых я потом встречал, о которых читал в книгах – в их обликах и характерах всплывали черты моих соседей. Мне почему-то сейчас приятно осознавать, что детство я провел если не в колыбели человечества, то уж наверняка в ее маленькой и точной копии.

Вспоминая Устюшу, я всегда хочу встрепенуться, словно пытаюсь вырваться из той части жизни, которая стягивается, скукоживается, застывает. Мне хочется на простор, а эта старушка меня не выпускает, превращает в один из предметов в огромном складе ненужных вещей, которые она собирала по всей деревне целыми днями с раннего утра и до позднего вечера. Она была хозяйкой бездушного пространства деревни, не замечала людей – ее интересовали только предметы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.